АЗБУКА ВЕРЫ

А.В. Амфитеатров

Мое участие в "заговоре" с Гумилевым

Художественная литература · azbyka.ru

Мое участие в "заговоре" с Гумилевым – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/moe-uchastie-v-zagovore-s-gumilevym

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Мое участие в "заговоре" с Гумилевым

А.В. Амфитеатров

Когда Н.С. Гумилева арестовали, никто в петербургских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, казалось, не было в них писателя, более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец "искусства для искусства".

Вот что я, только что бежавший из Петербурга, в финляндском карантине писал по убиении Гумилева в гельсингфорсскую газету "Новая русская жизнь":

"Арест человека чтобы разрушить постылый "существующий строй"..." (см. в моих "Горестных заметах". Берлин, 1922, "Грани").

Тут нужна оговорка. Условия осени 1921 года требовали, чтобы я "не верил" в возможность причастности Гумилева к какому-либо заговору. В действительности же я не верил и продолжаю не верить только в причастность его к тому заговору, за мнимую связь с которым он расстрелян, — к так называемому "Таганцевскому". Здесь он был ни при чем, — я имею к этому утверждению вполне определенные основания, — как ни при чем было и большинство из 61 расстрелянных по этому плачевному делу, если только вообще был в нем кто-либо при чем, начиная с самого Таганцева. Вообще же, Гумилев не только был способен "быть заговорщиком", но и хотел им быть — страстно искал заговора, к которому стоило бы примкнуть, и с твердостью шел навстречу каждой попытке контрреволюционного действа, имевшей хоть тень правдоподобия.

В одной из таких несостоявшихся попыток мы оба участвовали, и открыл ее существование Гумилеву и привлек его к ней я, по определенному расчету, что он, как бывший офицер, имея большое знакомство в офицерских кругах и пользуясь в них симпатией и влиянием, возьмет на себя организацию боевой подготовки. Он был в восторге, горячо меня благодарил и сейчас же наметил и предложил ввести в заговор еще одно лицо, близкое к "Всемирной литературе", где мы обыкновенно встречались.

Человек этот — очень умный, солидный, ученый, как будто с большим характером, на словах отъявленный враг большевиков (включительно до благословения на террор), вообще симпатичный и со всею видимостью "настоящего парня" — казался подходящим и мне. Сошлись втроем и объяснились. Говорил Гумилев, я лишь вносил поправки, когда он ошибался. Человек наш выслушал очень внимательно, с заметным волнением, бледный, — потом, минуту подумав, сказал:

— Господа, благодарю вас за доверие, растроган им. Проекту вашему сочувствую всею душою и нахожу его вполне осуществимым. Больше скажу: это как раз то, о чем я сам не раз думал и что предложил бы к организации. Но принять участие, простите, не могу. К стыду моему, — сочувствуя, веруя, желая, — все-таки не могу. И не могу именно по симпатии к предприятию. Я испортил бы все дело. Признаюсь вам совершенно откровенно: я трус. Наружность у меня такая, что, кажется, могу быка с ног свалить, голова — как будто логическая, рассудочная, мыслю правильно, говорю храбро, но — чуть надо действовать, никуда не гожусь: отвратительный физический трус! Вот и сейчас: я только узнал, что есть нечто вроде заговора в близком мне кругу, — и посмотрите вы на меня: хорош? И руки-ноги похолодели, и в животе спазмы... А если я, пойдя на отчаянность, возьму в заговоре ответственную роль — тогда что? Кому смерть на баррикаде, а мне в неудобоназываемом месте от холерины... И... и, одним словом, "позвольте выйти", господа! — закончил он жалостным каламбуром, в самом деле

совсем больной.

— Что же? По крайней мере, честно, — холодно "резюмировал" Гумилев.

Честно-то оно честно, — доноса "физический трус" не сделал и вообще сумел держать язык за зубами, чему, может быть, именно "физическая трусость"-то и способствовала: окаменелое лицо и недвижный взгляд Гумилева, упертый прямо в лицо, должны были хорошо запомниться слабожелудочному горемыке. Но впоследствии, когда Гумилев был уже под землею, а я в далекой эмиграции, наш "физический трус" отлично поладил-таки с большевиками и устроился при них по своей ученой части с совершенным удобством, имя его мелькало даже в заграничных командировках, в которые, как известно, ГПУ малонадежных своих подданных не пускает.

"Заговор" наш не расцвел и отцвел, как десятки подобных в обычном порядке и по обычным причинам: некто надул с валютою и не достали спирта. Хотел было рассказать эту трагикомическую историю, да — нет! зачеркиваю! Рано. Во всяком случае, это был пятый и последний раз, что я после октября 1917 года "заговаривался".

Гумилев — напротив, он увлекательного занятия этого не прекратил. И как офицер, и как путешественник, он был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленный и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Такому беспокойному человеку под бурей смутного времени как не быть заговорщиком?

Прибавьте к этому прямолинейную убежденность — своеобразный "холодный фанатизм", неспособный к гибкости, бесстрашный в поведении, что пред цензурою правых, что (а это, пожалуй, в своем роде страшнее) левых. В обществе товарищей республиканцев, демократов и социалистов Гумилев, без опасения за свою репутацию, громко провозглашал себя монархистом. В обществе товарищей атеистов, богоборцев, вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, носил на груди большой крест-тельник и крестился на все церкви. Как-то раз я заметил ему, — помню, у церкви св. Симеона на углу Моховой, — что подобные демонстрации благочестия, пожалуй, излишни: вызывающе привлекают внимание прохожих, а по существу бесполезны. Он возразил:

— Надо, чтобы толпа видела, что не вся интеллигенция отстала от Бога и боится Его исповедать. И, кроме того, ведь на лице у меня не написано, кто я таков, а я не хочу, чтобы меня хоть на минуту, случайно, принимали за большевика.

Принять его за большевика, впрочем, было трудно — уже по курьезной шубе его, единственной во всем Петербурге, из какой-то полосатой звериной шкуры, происхождения африканского или дальневосточного, не знаю, но несомненно экзотического.

Религиозность Гумилева производила на меня сильное впечатление. Тому, конечно, много способствовала ее необыкновенность в молодом человеке поколения, так называемого "предреволюционного", и, не тем будь помянуто, надо правду сказать, довольно-таки беспорядочного именно в направлении религиозно-этическом. Мы говорили об этом. Гумилев сказал большое слово:

— Я не понимаю, как человек, переживающий революцию, может оставаться без Бога. То есть — я не в том смысле, чтобы, как принято, "искать Бога". Что же искать, когда мы Им настигнуты и каждую минуту чувствуем себя в Его руке? Поздно. Он сам нас нашел.

Политическими единомышленниками мы не были. Мой демократический республиканизм (хотя и огорченный, но... "храм разрушенный все храм, кумир поверженный все бог!") был ему

не по душе. Как-то раз я шутя напомнил ему, что Платон в своей идеальной утопии государства советовал изгнать поэтов из республики.

— Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику, — гордо возразил Гумилев.

В монархизме он был крепок. В последней книжке своих стихов, вышедшей уже под советским страхом, он не усумнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога "Махди", и —

Я ему подарил пистолет
И портрет моего Государя...

Это — несмотря на его откровенную нелюбовь лично к императору Николаю II.

В первые годы нашего столетия я был в очень хороших отношениях с Александром Аркадьевичем Столыпиным и кн. Эспером Есперовичем Ухтомским. Так вот они, бывало, очень изумляли меня общею обоим странностью. Бывало, рассказывают с негодованием такие царскосельские и вообще царско-правительственные штучки, что злому врагу не выдумать лжи хуже этой дружеской правды, и "обожаемый монарх" в результате раскрашивается в цвета, весьма неприглядно пестрые. А в глазах у обоих молитвенное благоговение, голоса почтительные. Александр Столыпин был еще посвободнее, а кн. Эспер, произнося царское имя, титул "его величество" или "государь император", даже с места привставал. Хорош ли, мол, худ ли, но — "царь", и ему же честь — честь, ему же дань — дань... Так ведь и Столыпин, и Ухтомский были аристократы и царедворцы: тут сказывался вековой атавизм. А Гумилев — какой же аристократ?!

История его расстрела темна. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Когда депутация профессионального Союза писателей отправилась хлопотать за Гумилева, председатель Чеки не только не мог ответить, за что взят Гумилев, но и даже не знал, кто он такой.

— Чем он, собственно, промышляет, ваш Гумилевич?

— Не Гумилевич, а Гумилев.

— Ну?

— Он поэт.

— Ага, значит, писатель. Не слыхал. Наведу справки, зайдите через недельку.

— Да за что же он взят-то? Чекист подумал и... объяснил!

— Видите ли, так как теперь, за свободою торговли, причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилевич влип за какое-нибудь должностное преступление.

Ошеломил!.. Какое служебное преступление могло открыться за нигде не служившим Гумилевым?! Аполлону, что ли, наговорил дерзостей на Парнасе или М. Горькому в редакционном комитете "Всемирной литературы"?

Над удивительным свиданием и разговором с чекистом много было смеха: никто не предчувствовал, что смех будет прерван ружейным залпом, который опозорит русскую землю, заставив ее еще раз, — который это уже, о Боже милосердный?! — впитать в себя "поэта

праведную кровь...".

И десять лет тому назад я был и теперь остаюсь при той догадке, что, по всей вероятности, Гумилеву на допросе поставлен был прямой вопрос о политических убеждениях, а Гумилев, не прибегая к спасительным обинякам, прямо и ответил. Если же следователь умел задеть его самолюбие, оскорбил его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович в ту же минуту ответил ему по заслуге — с тою мнимо холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий пережиточный анахронизм, с дуэлистами-бреттерами "доброго старого времени", эпохи Долохова, Толстого-Американца, Печорина. Ну, а в ЧК и ГПУ строптивцам подобного закала пощады не бывало. Ставили к стенке и за усмешку при имени Ленина или упоминании о Третьем Интернационале.

Даже в списках смертников "Правды" Гумилев обозначен был как "Гумилев, поэт". Это выразительно хорошо-верно. Гумилев и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, он отвечал — "я поэт" — с такой же простотою и уверенностью официальной обычности, как иной обыватель говорит — "я потомственный почетный гражданин", "я присяжный поверенный", "я офицер". Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом. Поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, с стихотворным ремеслом: недаром же одно из основанных им поэтических товариществ получило имя-девиз "Цех поэтов". Гумилев был именно цеховой поэт, то есть поэт и только поэт, сознательно и умышленно ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы.

Преподавая курс литературы в бывшей Демидовской гимназии, я организовал было там вечерние лекции для воспитанниц старших классов, с участием литераторов. Гумилев читал о Байроне, а после лекции — свои стихи. Гимназистки окружили его с расспросами:

— Как это пишут стихи — хорошие стихи? Трудно это? Он, с важною улыбкою, отвечал:

— Ничего нет проще. Приходите в Дом искусства. Каждую берусь выучить в два месяца писать стихи, которые лучший журнал будет рад печатать.

Резко отделяя "поэта" в особый, магически очерченный круг, возвышенный над миром, наподобие как бы некоего амвона, Гумилев даже не очень-то любил, чтобы его называли "писателем" или "литератором". Однажды мы довольно остро поспорили об этой классификации в комитете Дома литераторов, членами которого оба были. Гумилев непременно желал ввести в экспертную комиссию этого учреждения специального делегата от Союза поэтов, что мне представлялось излишним. А однажды — на мой вопрос, читал ли он, не помню уж какой, роман, он совершенно серьезно возразил, что никогда не читает беллетристики, потому что если идея истинно художественна, то она может и должна быть выражена только стихами.

Он был всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец-гиерофант. Говорят, подражал Брюсову, — не могу судить: Брюсова не знал. Но всем своим внутренним обликом (во внешнем между ними не было ничего общего) Гумилев живо напоминал мне первого поэта, которого я, еще ребенком, встретил на жизненном пути своем: безулыбочного священнодейца Аполлона Николаевича Майкова. Другие мотивы и формы, но то же мастерство, та же строгая размеренность вдохновения, та же рассудочность средств, та же "поверка алгеброй гармонии" и, при совершенном изяществе, некоторый творческий холод.

В воспоминаниях о Гумилеве (напр., у В.Ф. Ходасевича, отчасти у П.М. Пильского) попадаются намеки или даже прямые указания на то, что эта важная серьезность его, статуарность, жречество отдавали наигранностью: он-де все задавал себе роли и добросовестно их играл. Я думаю, что когда роль играется постоянно, добросовестно, искренно, до слияния с жизнью, переходя в жизнь и даже до господства над жизнью, — то полно, надо ли ее отделять от жизни в особость, не есть ли она уже и самая жизнь?

Детскости, подмеченной г. Ходасевичем, в Гумилеве действительно было много (как и в Лермонтове), и подыграть кое в чем он был способен. Но грозный путь, приведший его к роковой "стенке", он избрал не как дитя, но как муж, без игры, но трагически серьезно, и — жизнью храбрых жил, смертью храбрых умер. А то, что это все свершилось для всех неожиданно и непонятно, доказывает только то, что Гумилев был хороший конспиратор и, при высоком таланте звонкой поэтической речи, обладал не меньшим талантом "благого молчания".

Опубликовано: Сегодня. 1931. № 253. 13 сентября.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch